

Владимір Амфитеатровъ-Кадашевъ.

773

ОЧЕРКИ  
исторіи русской литературы.

Прага  
1922.

Акционерное Общество „Славянское Издательство“.

## ГЛАВА VII. Н. В. ГОГОЛЬ.

Въ исторії мірової літератури немного фігуръ, болѣе трагическихъ, чѣмъ Николай Васильевичъ Гоголь.

Гоголевське творчество — напряженно-непрерывное горѣніе души. Невидимыя міру слезы жгучей волной накапають на сердцѣ творца „Мертвыхъ душъ“ и „Шинели“ и не тушать, а еще пуще разжигаютъ объявшій его неугасимый огонь. Выше и выше взвивається страшное пламя, пока не испепелится надорванная душа, пока не захлебнется Гоголь въ горькомъ потокѣ губительныхъ слезъ.

Слишкомъ часто фраза о „невидимыхъ слезахъ“ понималась въ смыслѣ узкомъ, почти вульгарномъ: ихъ считали разновидностью „гражданской скорби“, предполагая, будто Гоголь рыдалъ надъ несовершенствами общественного уклада.

Послѣ работъ Мережковскаго, Розанова, Брюсова, Венгерова подобная точка зрѣнія невозможна.

„Невидимыя міру слезы“ вызваны причинами не общественно-политическими, но метафизическими. Страшны не взятки городничаго, но наличіе въ фактѣ бытія противорѣчія между Сущимъ и Должнымъ. Ужасны не Собакевичи и Плюшкины, но необорная власть злого начала.

Ошибочное представлениe о Гоголѣ, какъ о сатирикѣ-гражданинѣ, обязано своимъ происхожденiemъ невѣрному раскрытию его воспріятія жизни.

Конечно, всякое творчество отображаетъ жизнь. Но методы отображенія бываютъ крайне многогранны, и тѣ, кому пригодилось, будто Гоголь стоитъ на грани точной передачи фактовъ и, — „какъ вѣрное зеркало, отражаетъ то, что есть на самомъ дѣлѣ“ — впали въ невѣроятную ошибку.

Это непониманіе было очень упорнымъ.

Современники Гоголя опредѣленно видѣли въ немъ натуралиста.

Для Бѣлинскаго въ Гоголѣ всего цѣннѣе, что у него „все просто, естественно, обыкновенно и вѣрно“, что онъ даетъ намъ „совершенную истину жизни“:

„Совершенная истина въ повѣстяхъ г. Гоголя тѣсно соединяется съ простотою вымысла. Онъ не льстить жизни, но и не клевещетъ на нее: онъ радъ выставить наружу все, что есть въ ней прекраснаго, человѣческаго и въ то же время не скрываетъ нимало и ея безобразія. Въ томъ и другомъ случаѣ онъ вѣренъ жизни до послѣдней степени. Она у него настоящій портретъ, въ которомъ все схвачено съ удивительнымъ сходствомъ, начиная отъ экспрессіи оригинала до веснушекъ лица его“. (В. Г. Бѣлинскій „О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя“ „Телескопъ“ 1835 т. 26).“

Это мнѣніе держалось долго. С. А. Венгеровъ, впослѣдствіи одинъ изъ разрушителей легенды гоголевскаго натурализма, въ 1907 году писалъ о „Ревизорѣ“:

„Не забудемъ же того, что „Ревизоръ“ не есть непосредственная фотографія съ живой дѣйствительности, а одно изъ самыхъ сконцентрированныхъ синтетическихъ произведений, гдѣ все есть обобщеніе, все есть результатъ суммированія отдѣльныхъ чертъ... Это-то, конечно, и сообщило веселому анекдоту, который Пушкинъ рассказалъ Гоголю, такія грандіозныя очертанія и превратило его въ потрясающую картину нашего общественно-государственного уклада“. (С. А. Венгеровъ „Очерки по истории русской литературы. Писатель-гражданинъ Н. В. Гоголь“).

Однако, внимательное и вдумчивое изученіе послѣднихъ лѣтъ разсѣиваетъ ошибочную легенду (труды Мережковскаго, Брюсова, В. В. Розанова, А. Волынскаго, Эллиса и др.).

С. А. Венгеровъ, ранѣе видѣвшій въ творчествѣ „Гоголя“ подлинную картину Россіи, теперь доказываетъ, что Гоголь не имѣлъ никакой возможности наблюдать настоящую Россію, что „Ревизоръ“ навѣянъ исключительно малороссийскими впечатлѣніями, и въ основѣ „Мертвыхъ душъ“ нѣтъ реальныхъ наблюдений:

„Малороссийское міроотношеніе, если можно такъ выражаться, настолько органически засѣло въ Гоголь, что немногое специфически-русское, которое ему было знакомо, запечатлѣвалось въ его воображеніи не столько, какъ художественная эмоція, сколько какъ этнографическая картина“. (С. А. Венгеровъ „Гоголь совершенно не зналъ реальной русской жизни (почти невѣроятное происшествіе)“ газ. „Рѣчь“ 1913 №№ 56—57), говорить Венгеровъ, ссылаясь на постоянное у Гоголя, въ высшей степени странное добавленіе къ слову „мужикъ“ слова „русскій“ (первая глава „Мертвыхъ душъ“, „Невскій проспектъ“). Въ самомъ дѣлѣ, какіе еще мужики, кромѣ русскихъ, могутъ быть въ Петербургѣ или въ русскомъ губернскомъ городѣ? И,

окончательно погребая легенду о натурализмѣ Гоголя, Венгеровъ резюмируетъ:

„Конечно, никакой, не то, что гениальный, а даже средний художникъ не списываетъ дословно дѣйствительно имъ видѣнное, а даетъ типовое. Но, вѣдь, это типовое-то есть все же таки нѣкій средний выводъ, нѣкое обобщеніе, нѣкій общій знаменатель ряда отдѣльныхъ случаевъ. А вотъ у Гоголя никогда такой, какъ ее можно назвать, художественной руды въ распоряженіи не было“. (С. А. Венгеровъ, Ibid).

Статья С. А. Венгерова касается отношенія Гоголя къ чисто русской жизни.

Но и Малороссія, давшая Гоголю „своеобразное міроощущеніе“, является у него въ образахъ, далекихъ отъ зеркального отраженія.

Прошлое Украины, точное воскрешеніе коего Бѣлинскій и Шевыревъ увидѣли въ „Тарасѣ Бульбѣ“, — какъ уже въ 60-хъ годахъ прошлого столѣтія выяснено Кулишемъ и полякомъ Грабовскимъ, представлялось Гоголю въ видѣ, совершенно фантастическомъ.

Возраженія Кулишу Максимовича и Каманина, доказавшихъ высокую степень знакомства Гоголя съ украинской исторіей — дѣла не измѣняютъ... .

Гоголь живо интересовался исторіей Малороссіи и много работалъ надъ нею. Но, во-первыхъ, въ его эпоху научное изслѣдованіе историческихъ судебъ Украины находилось еще въ зародышѣ.

А затѣмъ — и это самое главное, — у Гоголя отсутствуетъ „ясновидѣніе прошедшаго“.

„Передо мною выясниваются и проходятъ поэтическимъ строемъ времена казачества“ характеризуетъ онъ „Тараса Бульбу“ въ письмѣ къ Шевыреву изъ Вѣны отъ 25 августа 1839 г., самъ ясно не осознавая происходящаго въ его душѣ творческаго процесса и принимая загорающейся фантастической фейерверкъ „Тараса Бульбы“ за подлинное воспроизведеніе солнечнаго свѣта быльыхъ временъ.

Потому что, обладай Гоголь „ясновидѣніемъ прошлого“ — онъ, не взирая на немногочисленность историческихъ данныхъ, не претворилъ бы южно-русскую „жакерію“ XVII в. въ эпопею осады Нового Иліона, не накинулъ бы по выражению Кулиша на казацкихъ „ватажковъ“ плаща Гомеровскихъ героеvъ.

Анахронизмы и ошибки Гоголя въ „Тарасѣ Бульбѣ“ колоссальны. Онъ называетъ Бульбу характеромъ, „который могъ возникнуть въ тяжелый XV вѣкъ“ и заставляетъ его дѣйствовать въ обстановкѣ XVII вѣка.

Походъ на Дубно происходит передъ восстаниемъ Острапицы, т. е. въ концѣ 20-хъ годовъ XVII столѣтія, и одновременно киевскимъ воеводой названъ Адамъ Кисель, православный вельможа и сенаторъ, назначенный на это мѣсто въ 1651 году при Хмѣльницкомъ.

Гоголь думаетъ, что поэтическія гиперболы народныхъ пѣсень подлинно передаютъ общественные отношенія и наивно увѣренъ, будто стоило только есауламъ прокричать во весь голосъ на рынкахъ кличъ „доставать казацкой славы!“ — и „пахарь ломалъ свой плугъ, бровари и пивовары кидали свои кадки и разбивали бочки, ремесленникъ и торгашъ посыпалъ къ черту и ремесло, и лавку, биль горшки въ домѣ, и все, что ни было, садилось на коня. Словомъ, русскій характеръ получилъ здѣсь могучій, широкій размахъ, крѣпкую наружность“. (Тарасъ Бульба, I), не принимая во вниманіе, что при подобномъ „могучемъ, широкомъ размахѣ“ было бы невозможно не только то благосостояніе, которымъ, по отзывамъ современниковъ, цвѣла Малороссія первой половины XVII вѣка, но вообще никакое правильное общежитіе.

Не менѣе замѣтный анахронизмъ — предсмертныя слова Тараса Бульбы: „О своемъ царѣ изъ русской земли“, — Гоголь вкладываетъ въ слова казацкаго атамана I-й четверти XVII вѣка идеологію, родившуюся лишь послѣ Хмѣльницкаго.

Самая же большая историческая ошибка „Тараса Бульбы“, конечно, то, что Гоголь не угадалъ соціального фактора польско-казацкой борьбы, что отъ него ускользнула демократический уравнительный характеръ украинскихъ восстаний. Его запорожцы боятся только за вѣру и русскую національность, тогда какъ на дѣлѣ казацкіе бунты были прежде всего соціальной революціей, лишь осложненной религіозно-національными моментами.

Гоголь настолько мало зналъ истинную природу казацкаго движенія, что заставилъ Бульбу гордиться своей принадлежностью къ дворянству (слова надъ трупомъ Андрія).

Правда, некоторые православные и даже не православные шляхтичи бывали замѣшаны въ казацкихъ восстаніяхъ, но въ массѣ православное и русское шляхетство было такимъ же ожесточеннымъ врагомъ казачества, какъ и шляхетство католическое и польское, а казаки въ своей ненависти къ дворянамъ очень мало считались сть религіей и національностью послѣднихъ. Какая-нибудь буйная голова дворянского происхожденія, даже не русскій и не православный (таковъ былъ, по всей вѣроятности, Косинскій, глава первого казацкаго движенія, направленного противъ столпа православной церкви, князя Константина Острожскаго) могъ предводительствовать казачьимъ

набѣгомъ, но, чтобы домовитый дворянинъ, какимъ Гоголь изображаетъ Бульбу, сознательно бросился въ бунтъ, направленный на разрушеніе его собственного благополучія, чтобы онъ повезъ своихъ ученыхъ сыновей „доканчивать образованіе“ въ Сѣчь, пристанище анти-шляхетской революціи — это не только не типично, но почти невозможно.

Малороссія, современная Гоголю, нарисована въ тонахъ, столь же нереальныхъ.

Достаточно вспомнить хотя бы описанія ея природы:

„Сквозь темно и свѣтло-зеленые листья небрежно раскиданныхъ по лугу осокоровъ, березъ и тополей засверкали огненные, одѣтыя холодомъ искры, и рѣка-красавица блистательно обнажила серебряную грудь свою, на которую роскошно падали зеленые кудри деревъ. Своенравная, какъ она, въ тѣ упоительные часы, когда вѣрное зеркало такъ завидно заключаетъ въ себѣ ея полное гордости и ослѣпительного блеска чело, лилейныя плечи и мраморную шею, осѣненную темною, упавшей съ русой головы волною, когда съ презрѣніемъ кидаетъ одни украшенія, чтобы замѣнить ихъ другими, и капризамъ ея конца нѣтъ, — чудесная рѣка почти каждый годъ перемѣняетъ свои окрестности, выбираетъ себѣ новый путь и окружааетъ себя новыми разнообразными ландшафтами. Ряды мельницъ подымали на тяжелая свои колеса широкія волны и мощно кидали ихъ, разбивая въ брызги, обсыпая пылью и обдавая шумомъ окрестьность“. („Сорочинская ярмарка“ I).

Нигеръ или Амазонку рисуетъ Гоголь? Всего навсего — скромный, маловодный Пселъ.

„Какъ томительно жарки тѣ часы, когда полдень блещетъ въ тишинѣ и зноѣ, и голубой, неизмѣримый океанъ сладострастнымъ куполомъ нагнувшійся надъ землею, кажется заснуль, весь потонувши въ нѣгѣ, обнимая и сжимая прекрасную въ воздушныхъ объятіяхъ своихъ! На немъ ни облака; въ полѣ ни рѣчи. Все какъ будто умерло; вверху только, въ небесной глубинѣ, дрожитъ жаворонокъ, и серебряныя пѣсни летятъ по воздушнымъ ступенямъ на влюбленную землю, да изрѣдка крикъ чайки или звонкій голосъ перепела отдается въ степи. Лѣниво и бездушно, будто гуляющіе безъ цѣли, стоять подоблачные дубы, и ослѣпительные удары солнечныхъ лучей зажигаютъ цѣлья живописныя массы листьевъ, накидывая на другія темную, какъ ночь, тѣнь, по которой только при сильномъ вѣтрѣ прыщетъ золото. Изумруды, топазы, яхонты эфирныхъ наѣкомыхъ сыплются надъ пестрыми огородами, осѣняемыми статными подсолнечниками. Сѣрые стоги сѣна и золотые споны хлѣба становъ располагаются въ полѣ и кочуютъ по его неизмѣримости. Нагнувшіяся отъ тяжести плодовъ широкія вѣтви

черешенъ, сливъ, яблонь, грушъ; небо, его чистое зеркало—рѣка въ зеленыхъ, гордо поднятыхъ рамахъ... (Itid).

Надъ Бразиліей или надъ Явой пыщеть жаромъ этотъ тропической полдень? Всего навсего надъ мѣстечкомъ Сорочинца-ми Миргородского уѣзда, Полтавской губерніи.

А прудъ въ „Майской ночи“ или знаменитое „Чуденъ Днѣпръ при тихой погодѣ“ изъ „Страшной мести“?

Развѣ эта рѣзкая яркость, этотъ ослѣпительный калейдо-скопъ образовъ, эта декоративная пышность, эта бьющая въ глаза красочность — хоть сколько-нибудь характерны для нарядной, кокетливої, но скромной и вовсе не пышно изукрашенной, природы Малороссіи? Сравните отливающее всѣми цвѣтами радуги, словно драгоцѣнная парча сверкающее серебромъ и золотомъ описание украинской ночи у Гоголя со строгимъ простымъ описаніемъ ея въ „Полтавѣ“, и намъ станеть ясно, какъ нереально и фантастично представлениe Гоголя о Малороссіи,

Гоголь ошибается даже въ малороссийскихъ обычаяхъ: въ „Майской ночи“ парубки распѣваютъ великорусскую пѣсню.

Этихъ ошибокъ уже нельзя объяснять — (какъ дѣлаетъ Венгеровъ въ отношеніи русской жизни) малымъ знакомствомъ Гоголя съ изображаемымъ сюжетомъ. Гоголь, конечно, видѣлъ и зналъ современную ему Малороссію и ея природу.

Слѣдовательно, есть иная причина, и эта причина — то, что Гоголь видить жизнь не такъ, какъ она представляется обычному взору, Онъ не натуралистъ, но величайший фантастъ нашей литературы.

Напрасно „неистовый Вискаріонъ“ вообразилъ, что у Гоголя, все просто, обыкновенно и вѣрно“.

Уже одна гиперболичность образовъ и примѣненіе къ деревьямъ эпитетовъ, соединяемыхъ чаше съ представленіемъ о Казбекѣ или Монбланѣ („подоблачные дубы“ въ I главѣ „Сорочинской ярмарки“), глаголъ „грѣмѣть“ для обозначенія звуковъ, издаваемыхъ столь нѣжными птичками, какъ соловей и перепель, Днѣпръ, такой широкій, что рѣдкая птица долетить до его середины, прудъ, сонный хохлацкій „ставокъ“, держацій „въ своихъ объятіяхъ небо“, — показываютъ, что мы имѣемъ дѣло не столько съ „поэзіей жизни дѣйствительной, коротко знакомой намъ“, сколько съ совершенно необычайнымъ міроощущеніемъ, съ воспріятиемъ бытія свозь многогранную отливающую всѣми цвѣтами радуги призму.

Творчество Гоголя — сказочный садъ, гдѣ на вербахъ зреютъ необыкновенные груши, золотыя, съ сокомъ, душистымъ и пьянымъ, какъ столѣтній медъ, но отъ которого на сердце становится горько и отчаянно, гдѣ наглые грибы по-

ганки достигаютъ размѣровъ калифорнійскихъ веллингтоній, гдѣ по темнымъ угламъ выростаютъ чудовищные ядовитые и ключие буряны, и гдѣ иногда, сверкая, словно яхонты и топазы, распускаются ослѣпительные цвѣты, чей опьянилъ запахъ опаснѣе яда буряновъ.

Здѣсь все неожиданно, капризно и измѣнчиво, и недаромъ современный нашъ изслѣдователь сравнивалъ этотъ фантастический міръ съ мучительными видѣніями Гопа (Проф. С. К. Шамбинаго „Гоголь и Гопа“).

Черти, вѣдьмы, мертвѣцы, изъ двадцати двухъ беллетристическихъ произведеній Гоголя, собственной персоной участвующіе въ десяти, чувствуютъ себя здѣсь, какъ дома. Здѣсь въ пыльной лавкѣ антикварія можно купить страшный портретъ, вылѣзающій по ночамъ изъ рамы и соблазняющій людей сатанинскимъ золотомъ. Здѣсь не надо удивляться, если вамъ по близости Калинкина моста встрѣтится нѣкое привидѣніе и потребуетъ у васъ вашу шинель.

Здѣсь убѣжавшій съ лица майора Ковалева носъ украшаетъ себя шляпой съ плюмажемъ и развѣзжаеть по Петербургу въ каретѣ. Здѣсь, разгоняя веселыхъ пріятелей Солопія Черевика, въ окно хаты внезапно всовывается свиная харя, и вы никогда не повѣрите, будто бы свинью всунулъ таинственный цыганъ.\* ) О, конечно, тутъ не обошлось безъ цыгана, съ его великими достоинствами, которымъ на землѣ одна награда — висѣлица, но можно поручиться, что онъ не подслушивалъ розсказней кума подъ окномъ Черевика и не вталкивалъ въ нужный моментъ живой свиньи. Даже не будучи сорочинскимъ засѣдателемъ, отъ которого не ускользнетъ ни одна вѣдьма на свѣтѣ, легко догадаться, что дѣло не такъ просто и чисто.

Иногда въ этомъ саду попадаются какъ будто совсѣмъ- совсѣмъ простыя полянки. Не слишкомъ довѣряйте ихъ простотѣ. На нихъ появляются очень странныя произрастанія.

Выскакиваетъ „сосулька, тряпка, вертопрахъ“, ни на полмизинца не похожій на ревизора“, и эта „сосулька и вертопрахъ“ — „фантасмагорическое лицо, лживый олицетворенный обманъ“, мороку коего поддаются „умные люди и даже искуснѣйшіе плуты“. „Сосулька“ внезапно вырастаетъ въ „подоблачный дубъ“, ложь „вертопраха“ такъ стремительно-завлекательна, что онъ самъ чаруется своимъ морокомъ, вѣря и въ написанного имъ Юрия Милославскаго, и въ трепетъ передъ нимъ государственного совѣта, потому что онъ „такой и ни на кого не посмотритъ“, и въ то, что его „завтра же, сейчасъ произведутъ въ фельдмарш!!.“ („Ревизоръ“ д. III. явл. VI).

\* ) Такое безвкусное объясненіе появленія свиной хари обычно при постановкѣ „Сорочинской ярмарки“ на сценѣ.

А вотъ, по выражению современного Гоголю критика, самыя пошлыя „задворки человѣчества“, заросшія сорною травой. Но присмотритесь внимательнѣе къ этой обычности, и вѣсъ окружать нестерпимо-смѣхоторврные маски. Свирѣпая вражда двухъ миргородскихъ глупцовъ, по силѣ своей достойная какихъ-нибудь корсиканцевъ, разрушеніе гусинаго хлѣва, похищеніе бурой свиньей бумаги съ судейскаго стола, нелѣпое судбище . . . Все прыгаетъ, вертится, строитъ рожи, словно на карнавалѣ уродовъ и чучель.

Пошлый бурьянъ превращается въ исполинскій баобабъ, закрываетъ небеса, на весь міръ раскидываетъ вдругъ ставшія гигантами вѣтви. И невольно срывается у вырастившаго его своимъ чародѣйствомъ садовника вопль отчаянія и ужаса:

„Тощія лошади, извѣстныя въ Миргородѣ подъ именемъ курьерскихъ, потянулись, производя копытами своими, погружавшимися въ сѣрую массу грязи, непріятный для слуха звукъ. Дождь лилъ ливня на жида, сидѣвшаго на козлахъ и накрывшагося рогожкою. Сырость меня проняла насквозь. Печальная застава съ будкою, въ которой инвалидъ чинилъ сѣрые доспѣхи свои, медленно пронеслась мимо. Опять то же поле, мѣстами изрытое, черное, мѣстами зеленѣющее, мокрыя галки и вороны, однообразный дождь, слезливое безъ просвѣту небо. — Скучно на этомъ свѣтѣ, господа! („Повѣсть о томъ, какъ посorился Ив. Ив. съ Ив. Никифор.“).

А такой обыкновенный, не тонкій и не толстый господинъ, замысливший ловкое жульничество? Развѣ этотъ небольшой грибокъ гоголевскаго сада не вырастаетъ до размѣровъ, почти мистическихъ, развѣ не вносить онъ въ жизнь небывалое смятеніе, заставляющее людей вѣрить даже неподобной лжи Ноздрева?

„Отсутствіе реальныхъ наблюдений“, подмѣченное Венгеровымъ у Гоголя, безсильно объяснить эту фантастичность, этотъ гиперболизмъ, имѣющійся, впрочемъ, и въ вещахъ, где „реальная наблюденія“ налицо.

Нельзя говорить, что Гоголь, въ ошибкахъ противъ натурализма доходившій до людей, носящихъ лѣтомъ шубы („Мертвые души“), подмѣнялъ чудными выдумками незнакомую ему реальную жизнь.

Фантастическое творчество — не высасыванье изъ пальца небывальщины, а было результатомъ особаго міропониманія.

Пріемля міръ въ обыденныхъ представленияхъ, не создавъ фантастики, даже введя въ повѣствованіе случаи, совсѣмъ неподобные: если вы, будучи твердо убѣждены, что всѣ возможности познанія заключены въ нашихъ пяти чувствахъ, — ста-

нете рассказывать, будто вчера въ ресторанѣ видѣли Люцифера, кушающаго бифштексъ съ горчицей, — это будетъ не фантастика, а просто чепуха,

Надо совершенно необычайно ощущать жизнь, чтобы убѣдить, будто носы, хотя и рѣдко, но все-таки соскакиваютъ съ человѣческихъ лицъ и не только посыпаютъ Гостиный Дворъ подъ видомъ чиновниковъ, но еще имѣютъ наглость увѣрять, что они „сами по себѣ“.

Гоголь въ высшей степени одаренъ этимъ необычайнымъ міроощущенiemъ, и оно рождаетъ въ немъ глубокую убѣждennostъ въ невѣрности предметнаго міра.

„О, не вѣрьте этому Невскому проспекту!.. Все обмань, все мечта, все не то, чѣмъ кажется... Онъ лжетъ во всякое время, этотъ Невскій проспектъ, но болѣе всего тогда, когда ночь сгущеною массою наляжетъ на него и отдѣлитъ бѣлыя и палевыя стѣны домовъ, когда весь городъ превратится въ громъ и блескъ, міриады каретъ валятся съ мостовъ, форейторы кричатъ и прыгаютъ на лошадяхъ, и когда самъ демонъ зажигаетъ лампы для того только чтобы показать всене въ настоящемъ видѣ“. („Невскій проспектъ“).

Все не то, чѣмъ кажется: жизнь ходить въ маскѣ.

Здѣсь разрѣшеніе трагедіи Гоголя. разгадка тайны „невидимыхъ слезъ“ и „видимаго смѣха“.

Гениальнымъ прозрѣніемъ приподнялъ Гоголь маску жизни и увидѣлъ нѣчто страшнѣйшее самаго ужаснаго искаженнаго лика — безпредѣльность и безобразность непреодолѣннаго и непреодолимаго отъ вѣка хаоса: какъ несчастному Пискареву, ему показалось, „что какой-то демонъ искрошилъ весь міръ на множество разныхъ кусковъ, и всѣ эти куски безъ толку, безъ смысла смѣшалъ вмѣстѣ“. (*Ibid*).

Нельзя не плакать при этомъ зрѣлищѣ: оно ужаснѣе кошмаровъ „Вія“. Нельзя не смѣяться: оно смѣшинѣе лжи Ноздрева.

Но и „видимый смѣхъ“ и „невидимая слезы“ — выраженія одного и того же огненнаго чувства, въ которомъ до конца сгораетъ душа Гоголя — ужаса передъ бытіемъ.

За миражемъ предметныхъ явлений и за безобразной смутностью родившаго ихъ хаоса Гоголь узрѣлъ единственную подлинную реальность бытія — ч о р т а, котораго не принялъ, какъ символъ, но непосредственно опутилъ, какъ мы ощущаемъ тепло отъ солнечнаго свѣта или холода отъ мороза.

Доказываетъ-ли онъ А. О. Смирновой-Россети, что „сплетня дѣлается чортомъ“, убѣждаетъ-ли Языкова, что „стихи должны быть направлены противъ врага рода человѣческаго“,

объясняетъ-ли силой злого духа фактъ сожжения II-ой части „Мертвыхъ душъ“, — жалуется ли своему духовнику: „Но какъ смѣть предаваться какой-нибудь минутѣ, испытавши ужъ на дѣлѣ, какъ близко отъ насъ искуситель! (Письмо къ о. Матвѣю изъ Одессы отъ 21 апрѣля 1848 г.) — никогда не оставляетъ его темное чувство ужаса передъ всесильнымъ зломъ, такъ отчетливо выраженное въ его предсмертномъ вопль: „Помилуй, Господи, меня грѣшнаго — свяжи сатану вновь...

Отъ этого-то и проистекаетъ подробность описанія всяческихъ дивъ, казавшаяся Бѣлинскому и Шевыреву ошибочной. Человѣку, воспринимающему фантастику, какъ нѣчто сомнительное или совсѣмъ недостовѣрное, необходима завуалированность, расплывчатость, чтобы вызвать фантастическое настроеніе. Но Гоголь среди чертовскихъ чудищъ — свой: для него они, — несомнѣнно реальное бытіе — и, естественно, онъ не оставляетъ подробнаго стиля, которымъ передаетъ жизнь обычную.

Съ первыхъ шаговъ своихъ Гоголь почувствовалъ необоронно распространяющееся надъ жизнью дыханіе злой силы.

Эта сила не сразу показала когти. Сначала она притворилась невинной и смѣшной: врагъ рода человѣческаго щеголяетъ въ маскѣ нѣмца или губернскаго стряпчаго („Ночь подъ Рождество“ I). Человѣкъ легко его одурачиваетъ. Шутки нечисти почти добродушны: попугать старого кладоискателя („Заколдованное мѣсто“), украсть у казака гетманскую грамоту („Пропавшая грамота“). Она какъ будто даже полезна людямъ: не ея-ли чудодѣйствамъ обязаны счастьемъ (Параска и Грицько, Оксана и Вакула). Но веселится казакъ, пляшетъ, — и вдругъ „все лицо его перемѣнилось: нось выросъ и наклонился въ сторону, вмѣсто карихъ запрыгали зеленые очи, губы засинѣли, подбородокъ задрожалъ и заострился, какъ копье, изо рта выбѣжалъ клыкъ, изъ-за головы поднялся горбъ“. („Страшная месть“ I).

Страшный Басаврюкъ, „весь синій какъ мертвецъ“, врывается въ добродушную украинскую демонологію. За шутливыми „чертятками“, на которыхъ такъ просто съѣздить въ Петербургъ къ царицѣ, встаетъ исполнинская, проникнутая нечистой страстью, фигура отца Катерины.

Не тѣштесь мечтою, что нежить — совсѣмъ не страшная и даже глупая. Подлинный ея образъ грозень:

„... нечистая сила металась вокругъ него, чуть не зацепляя его концами крылья и отвратительныхъ хвостовъ. Не имѣть духу разглядѣть онъ ихъ; видѣть только, какъ во всю стѣну стояло какое-то огромное чудовище въ своихъ перепутанныхъ волосахъ, какъ въ лѣсу; сквозь сѣть волосъ глядѣли

страшно два глаза, поднявъ немнога вверхъ брови. Надъ нимъ держалось въ воздухѣ что-то въ видѣ огромнаго пузыря, съ тысячью протянутыхъ изъ середины клещей и скорпіонныхъ жалъ; черная земля висѣла на нихъ клоками". („Вій“).

Она — „приземистый, дюжій, косолапый“ Вій, она — воплощенный въ своемъ портретѣ дьявольскій Петромихали.

Однако, настоящій ужасъ, котораго не выдержитъ надорванное сердце генія, наступаетъ, когда господинъ „съ гладкимъ, какъ у датской собаки хвостомъ“, является безъ сверхъестественныхъ обличій, въ маскѣ обыкновеннаго пошлого человѣка.

Страшны видѣнія бѣднаго Хомы Брута. Но городъ „Мертвыхъ душъ“ страшнѣе. Ужасенъ Вій, но Чичиковъ ужаснѣе.

Ибо въ образѣ не тонкаго, не толстаго, всѣмъ пріятнаго Павла Ивановича духъ небытія и злобы съ наибольшей четкостью выявляетъ свою отчаянную пустоту, свою безконечную пошлость и мелкость.

Въ преодолѣніи этого ужаса, въ побѣдѣ надъ злую силой Гоголь видѣть основную задачу своего творчества.

Всѣ его произведения — бой съ чортомъ. Недаромъ, передъ выходомъ въ свѣтъ, они кажутся ему рѣшающими судьбы человѣчества: „такія открываются тайны, которыхъ не слышала дотолѣ душа“. (Письмо къ Жуковскому отъ 2. XII. 1843. изъ Ниццы).

Но вмѣстѣ съ тѣмъ никогда не покидаетъ Гоголя внутреннее предчувствіе непобѣдимости чорта. Тайный голосъ, восходящій изъ подсознательной сферы, обители зарожденія творчества и мысли — непрестанно твердитъ о тщетности горѣнія мятущагося сердца: опозорена злая сила — „онъ бачъ, яка кака намалевана“ („Ночь подъ Рождество“) — и, все-таки, въ конечномъ счетѣ — побѣждаетъ. Не случайна замѣна примиренного конца первого варианта „Портрста“ зловѣщей кражей варианта второго. Не такъ легко одолѣть зло: въ толпѣ, внимающей страшному повѣствованію о соблазнѣ, заключенномъ въ изображеніи дьявольскаго ростовщика, всегда найдется безумецъ, готовый помочь нечистой силѣ — сѣять гибель и бѣду.

Сознаніе непобѣдимости зла доводить Гоголя до крайнихъ предѣловъ отчаянія и унынія. У него бываютъ минуты, когда онъ почти проклинаетъ свое творчество, представляющееся ему полемъ безчисленныхъ поражений, понесенныхыхъ отъ злой силы.

„Въ сочиненіяхъ моихъ много, много грѣховъ“. (Письмо къ матери 10. 1838 г. изъ Рима).

„Сочиненія мои написаны во время глупой молодости и пользуются пока незаслуженной славой“. (Письмо къ А. О. Смирновой-Россети 21. XII 1844 изъ Франкфурта н/М.).

„Жаль, что нѣть такой моли, которая бы сразу съѣла всѣ экземпляры „Ревизора“, а съ ними „Арабески“, „Вечера“ и „всю прочую чепуху“. (Письмо къ Прокоповичу отъ 27. I 1837 изъ Парижа).

Въ „Перепискѣ“, сначала казавшейся „нужной, слишкомъ нужной“, на которой почили „чудо и особая милость Божія“. (Письмо къ П. А. Плетневу отъ 30. VII 1846 г. изъ Швальбаха и 20. X т. г. изъ Франкфурта н/М.):

„Я размахнулся такимъ Хлестаковыемъ, что не имѣю духу заглянуть въ нее“. (Письмо къ В. А. Жуковскому отъ 6. III 1847 изъ Неаполя).

Причина тайного сознанія непреодѣленности и непреодѣлимости зла заключается въ отсутствіи у Гоголя просвѣтленной и лучезарной любви къ Началу Вѣчно-Женственнаго.

Гоголь глубоко чувствуетъ женскую красоту и умѣеть тонко передавать чудо ея обаянія: Вспомните очаровательное сравненіе личика губернаторской дочки съ только что снесеннымъ яичкомъ, которое „держится противъ свѣта и пропускаетъ сквозь себя лучи сияющаго солнца“. („Мертвяя душа“ 2. I, VII).

Вспомните кокетливо-изящныхъ дивчинъ „Вечеровъ“. Вспомните, наконецъ, обольстительныя, сверкающія брызжущія всѣми цветами описанія красавицъ въ „Тарасѣ Бульбѣ“ и „Невскомъ проспектѣ“ или классическое воплощеніе восторга передъ женскою красою въ „Римѣ“.

Но одно яркое воспріятіе женской красоты еще не создаетъ любви къ тому Началу, о которомъ Христіанство пророчествуетъ, что Оно „сотретъ главу змія“, и которому, какъ первоосновѣ гармоніи, пропѣль вдохновенный гимнъ великой язычникъ новой Европы. („Das Ewig — Weibliche zieht uns hinan!“).

Двойственное и пассивное по самому существу своему, женское Начало можетъ одинаково легко стать, какъ орудіемъ Добра, такъ и орудіемъ Зла. У Афродиты два лика: Афродита Небесная и Афродита Простонародная — и послѣдній, нечистый и дьявольскій, внѣшне можетъ быть обольстительно прекраснымъ.

„Въ ту красоту, о, коварные черти,  
Путь себѣ тайный вы скоро нашли,  
Адское сѣмя растлѣнья и смерти  
Въ образѣ прекрасный вы сѣять смогли“.

пишетъ Владімиръ Соловьевъ въ свомъ шутливомъ „письмѣ увѣщательномъ къ морскимъ чертямъ“.

Гоголь остро чувствуетъ дьявольскій ликъ Афродиты и, можетъ быть, не совсѣмъ неправъ, когда говоритьъ, что въ его сочиненіяхъ „много, много грѣховъ“. Его душѣ, напряженно-страстной и прекрасно понимавшѣ опасность и страхъ излишней страсти. („Берегитесь всего страстнаго, берегитесь даже въ божественное внести что-нибудь страстное, пишетъ онъ А. О. Смирновой изъ Дормштадта 17. IV 1844) — внутренне близки обаянія нечестивой любви“.

Полетъ Хомы Брута въ „Віѣ“ и кровосмѣсительная страсть отца Катерины въ „Страшной мести“ — эти замѣчательныя, поистинѣ „магическія страницы“ (выраженіе В. В. Розанова) — съ потрясающей ясностью вскрываютъ тайну гоголевскаго ощущенія Афродиты Сатанинской.

Сколько мучительнаго злого сладострастья въ „томительномъ, непрѣятномъ и вмѣстѣ сладкомъ чувствѣ, подступившемъ къ сердцу“ — Хомы, когда онъ скачетъ „съ непонятнымъ всадникомъ на спинѣ“. („Віѣ“).

Эта трава, покрытая „прозрачной, какъ горный ключъ водою“, это „робкое полночное сіяніе, дымящееся по землѣ и, въ особенности, эта русалка, написанная съ непереносною для силь человѣческихъ остротою“ :

... „выпłyвала русалка, мелькала спина и нога, выпуклая, упругая, вся созданная изъ блеска и трепета. Она оборотилась къ нему, — и вотъ ея лицо, съ глазами свѣтлыми, сверкающими, острыми, съ пѣньемъ, вторгавшимся въ душу, уже приближалось къ нему, уже было на поверхности и, задрожавъ сверкающимъ смѣхомъ, удалялась, и вотъ она опрокинулась на спину, — и облачныя перси ея, матовыя, какъ фарфоръ, непокрытый глазурью, просвѣчивали предъ солнцемъ по краямъ своей бѣлой эластически-нѣжной окружности. Вода въ видѣ маленькихъ пузырьковъ, какъ бисерь, осыпала ихъ. Она вся дрожитъ и смѣется въ водѣ...“ („Віѣ“). — насквозь пронизаны страстнымъ колдовствомъ. Непобѣдимымъ соблазномъ втѣсняется оно въ душу, навсегда отравляя ее сладостнымъ своимъ ядомъ.

Въ „Страшной мести“ мы прикасаемся къ наиболѣе дерзновенной, наиболѣе преступающей нравственный законъ страсти — къ „богопротивной“ жаждѣ обладанія родной дочерью. Здѣсь Афродита Пандемость является едва-ли не въ самомъ грозномъ обличіи своеемъ.

Ликъ ея — отвратительная маска колдуна, — но развѣ не окружены онъ чарою, почти неодолимой? Развѣ нечистая любовь не тонетъ въ „прозрачно-голубомъ и блѣдно-золотомъ свѣтѣ, переливающемся словно на мраморѣ“ („Страшная мѣсть“ IV), отъ котораго вѣеть томнымъ и опаснымъ обаяніемъ?

Въ нечистивомъ чудодѣйствѣ есть соблазнъ, столь обольщающей, что невольно встаетъ лукавый и страшный вопросъ: не потому-ли Катерина спасла жизнь преступному отцу, что гдѣ-то, въ самыхъ тайникахъ души, предпочла законной любви честного Данилы, умѣющаго только лихо рубиться и лихо пить столѣтній медъ, дерзновенное стремленіе головокружительной сладости паденія въ „глубины сатанинскія“?

Дьявольская тайна сліянія красоты и нечестія пронизываетъ все творчество Гоголя.

Потрясающе выпукло встаетъ она въ „Невскомъ Пропсектѣ“, замѣчательнѣйшей изъ петербургскихъ повѣстей, гдѣ тяжкаго бремени ея не выдерживаетъ наивное сердце бѣдняка, въ царствѣ обмана, именуемаго жизнью, вѣрившаго въ „Перуджиніеву Біанку“ и молящагося несуществующей Афродитѣ Ураніи.

Гоголь, конечно, не Пискаревъ, хотя, можетъ быть, еще глубже, чѣмъ бѣдный художникъ, тоскуетъ о „Перуджиніевой Біанкѣ“.

Но Гоголь несчастнѣе Пискарева: тотъ, по крайней мѣрѣ, долго вѣрилъ въ Біанку и боролся за нее, пока горькое разувѣреніе не привело его къ „окровавленной бритвѣ“. Гоголь же слишкомъ глубоко чувствуетъ „страшную сверкающую красоту, на которую нельзя поглядѣть и не зажмуриться, сатанинской Афродиты, чтобы хоть на мигъ повѣрить въ Афродиту Небесную“:

„Казалось, никогда еще черты лица не были образованы въ такой рѣзкой и вмѣстѣ гармонической красотѣ. Она лежала, какъ живая: чело прекрасное, нѣжное, какъ снѣгъ, какъ сѣребро, казалось, мыслило; брови — ночь среди солнечного дня, тонкія, ровныя, — горделиво приподнялись надъ закрытыми глазами, а рѣсицы, упавшія стрѣлами на щеки, пылавшія жаромъ тайныхъ желаній; уста — рубины, готовые усмѣхнуться смѣхомъ блаженства, потопомъ радости... Но въ нихъ же, въ тѣхъ же самыхъ чертахъ, онъ видѣлъ что-то страшно-пронзительное. Онъ чувствовалъ, что душа его начинала какъ-то болѣзнетъ ныть, какъ будто бы вдругъ среди вихря веселья и закружившейся толпы запѣль кто-нибудь пѣсню похоронную. Рубины усть ея, казалось, прикипали кровью къ самому сердцу. Вдругъ что-то страшно знакомое показалось въ лицѣ ея.

— Вѣдьма! — вскрикнуль онъ“ („Вій“).

Съ такимъ ощущенiemъ дьявольского соблазна, конечно, несовмѣстима „Біанка“ — и Гоголь врядъ-ли не согласенъ съ Поприщинымъ, дѣлающимъ великое открытие, что „женщина влюблена въ чёрта“ или съ философомъ Хаявой, глуб-

бокомысленно заявляющимъ, что „всѣ бабы на базарѣ — вѣдьмы“.

Дѣйствительно, развѣ эти „дамы просто пріятныя“ и „дамы пріятныя во всѣхъ отношеніяхъ“, Анны Андреевны, Марыи Антоновны и Агафы Тихоновны, пустыя, глупыя, ненужныя, — не любовницы мелкаго бѣса пошлости?

Даже милымъ и нѣжнымъ „дивчатамъ“ „Вечеровъ“ нельзя довѣрять до конца. Г. Эллісъ довольно парадоксально, но не безъ остроумія, замѣтилъ, что у нихъ слишкомъ грубыя имена — Параска, Пидорка — чтобы ихъ можно было принять за воплощеніе просвѣтляющей Женственности.

Не есть- ли очарованіе ихъ, похожихъ на молодую вишенку въ бѣломъ снѣгу первоцвѣта — слѣдствіе чисто виѣшней причины — молодости и красоты?

Пока онъ юны и прекрасны, ихъ капризы милы, ихъ неглубокая любовь изящна, ихъ нарядное кокетство пріятно Но въ грядущемъ не превратятся - ли онъ въ крикливыхъ Хиврь, не смѣнится - ли на ихъ лицахъ кокетство чѣмъ - то „столь непріятнымъ, столь дикимъ“, не обратится - ли ихъ любовь въ грубый флиртъ Солохи съ чортомъ?

Невѣrie въ Афродиту Небесную — причина пораженія Гоголя въ борьбѣ съ дьяволомъ.

Тщетно бросается раненый геній изъ стороны въ сторону, ища выхода. Обращаетъ полные надежды взоры къ созиатальному труду, на путь, указанный мудрымъ Фаустомъ — и необманннымъ художественнымъ чутьемъ ясно ощущаетъ неубѣдительность своего Костанджогло.

Ищетъ спасенія въ идеѣ отечества, но вдохновленные гимны родинѣ пишеть лишь изъ „прекраснаго далека“, но всю жизнь убѣгаетъ отъ родной земли въ „мою душеньку красавицу Италію“, сознавая, что ему „больше чѣмъ кому - нибудь другому нужно держаться вдали отъ Россіи“, что въ ней нѣть „ни одного события, которое бы его освѣжило“.

Даже живая вода религіозного чувства претворяется у него въ ядъ изступленного фанатизма, христіанского лишь по имени, вызывающаго недоумѣніе и страхъ не только у атеиста, Бѣлинскаго, но и у глубоко, по - христіански вѣрующихъ Аксаковыхъ.

Для человѣка, познавшаго великую силу зла, не можетъ пройти даромъ невѣrie въ Вѣчно - Женственное начало.

Всеозаряющій бѣлый свѣтъ святой любви — той, которую средневѣковая мистика именовала *caritas* — единственное вѣрное оружіе для побѣды надъ врагомъ рода человѣческаго.

Безъ него битва съ чортомъ сулить пораженіе.

Солнце этой Любви, о которомъ Владимиръ Соловьевъ сказаль:

„Смерть и время царять на землѣ,  
Но владыками ихъ не зови.  
Все, кружась, погибаетъ во мглѣ,  
Неподвижно лишь Солнце Любви.“

не подымалось на небосклонѣ Гоголя, и изнемогъ его гений, испепелившій себя въ тщетномъ стремленіи преодолѣть страшно злого и умнаго духа небытія и пустоты.

---